



## В. В. РОЗАНОВ

### А. П. Чехов

Голубые озёра, голубой воздух, — панорама природы, меняющаяся через каждые десять вёрст, какие делает путешественник или проезжий, — очертания гор, определённые, ясные, — всё занимательно и волшебно с первого же взгляда. Это — Швейцария.

Люди бодры, веселы. Здоровье — неисчерпаемо. В огромных сапожищах, подбитых каким-то гвоздеобразным железом, с длинными и лёгкими палками в руках, с маленькими и удобными котомочками за спиной, они шастают по своим горам, с ледника на ледник, из долины в долину и всё оглядывают, рассматривают, должно быть, всем любуются.

Я всматривался в этих людей. «Вот гениальная природа и гениальный человек»... То есть «должно бы быть так». Ведь человек — конечный продукт природы. Откуда же взяться человеку, как не из природы? И я вглядывался с непременным желанием любить, восхищаться, уважать.

Лица — весёлые, а здоровье такое, что нужно троих русских, чтобы сделать из них одного швейцарца. В Женеве, на общем купанье, я был *испуган* спинами, грудями, плечами мужчин и не мог не подумать, что этот *испуг* должна почувствовать каждая женщина, к которой подходит такой человекообразный буйвол, «и тогда как же и на ком они женятся» и вообще «как устраивается семья у таких буйволов». Я представлял тщедушных, худеньких, измученных русских женщин, каких одних знал в жизни, и естественно не мог их представить в сочетании с такими буйволами.

И я ещё думал и думал... Смотрел и смотрел... Любопытствовал и размышлял.

Пока догадался:

— Боже! Да для чего же им иметь душу, когда природа вокруг них уже есть сама по себе душа, психея; и человеку остаётся только иметь глаз, всего лучше с очками, а ещё лучше с телескопом, вообще некоторый стеклянный шарик во лбу, соединённый нервами с мозгом, чтобы глядеть, восхищаться, а к вечеру — засыпать...

Сегодня — восхищенье и сон...  
Завтра — восхищенье и сон...  
Послезавтра — восхищенье и сон.  
Всегда — восхищенье и сон.

Вот Швейцария и швейцарец во взаимной связи. «Счастливая семья»... Кто же рассказывает и даже как можно рассказать историю «счастливой семьи»? История, «судьба» начинается с разлома, крушения, болезни, страдания. Не страдай так ужасно Иов, можно ли бы было написать «Книгу Иова»?.. «Книга Иова», вот эти *тридцать страничек*, которые читаются в течение тридцати веков... Но, Боже, стоит минуту подумать, чтобы понять, что «Книга Иова» есть сама по себе *факт*, сама по себе *история, действительность*, и притом такая, в которой материи, содержательности, крови, нервов и жизни более, чем в каком бы то ни было Иове, жил он или нет, страдал или не страдал. Иов, положим, промучившийся в проказе тридцать лет. Да, страшно! Ярко! Потрясает! Льёшь слёзы. Однако он умер, и всё умерло. Извержение на Мартинике<sup>1</sup> погубило тридцать тысяч человек: но всё умерло и прошло, и ужасный в жестокости человек уже теперь не помнит о них или очень мало вспоминает: всё *конкретное* — увы! — краткотечно и как-то остаётся «без последствий»... В «Книге Иова» гораздо больше жизни, души, силы, действительности, нежели было всего этого в самом Иове, а между тем, не страдай Иов, не появилось бы и «Книги Иова».

Что же такое страдание человека, единичное, личное, «вот это страдание»? Зерно, из которого иногда вырастает дерево, могущее затенить всю землю.

И придёт под прохладу его усталый и отдохнёт!

И пройдёт прохожий и скажет: «Я никогда не видал такого дерева».

И окрестные люди говорят: «Ни у кого нет этого, что у нас. Это нам послал Бог, сиротливым и неумным, такое чудо и мудрость, и могущество. Все приходят сюда и дивятся».

Вот Иов и человечество...

Но всё от того, что кто-то написал для человечества «Книгу Иова». Без этого — ничего...

Зачем швейцарцам история? Зачем швейцарцам поэзия? Зачем музыка? У них есть красивые озёра...

\* \* \*

Тусклые звёздочки, холодное солнце... да и тех двести дней в году не видно. Дождит, вечно дождит... За городом не столько природа, сколько болото. Да, есть цветы — на кладбище. Лучшая берёза, с развесистыми ветвями — там же. Мне два года случилось выжить в городе Белом Смоленской губернии; там единственное место гулянья было кладбище. И я, помню, с молодой женой, только что повенчавшись, ходил гулять туда. Больше решительно некуда пойти. А природы хочется, в «медовый-то месяц»...

Незабываемо выла там баба над могилой. Впервые услышал *живые* причитанья...

А молодому хочется жизни... «Ну, какая жизнь в России». Посопим.

Воет ветер в поле. Истории — ниоткуда. «На кой тебе леший история?» — озирается злобно на вас полицейский. Да, в Белом была история: именно, интеллигентные старожилы уверяли, что «Белый», с мужским окончанием, это теперешнее имя города, а некогда он назывался «Белая», с женским окончанием, «потому что была крепость *Белая*, защищавшая Московское государство от набегов Литвы, с земляным валом. А остатки вала это и есть вон те бугорки, что сейчас поднимаются за кладбищем. Но когда Польшу присоединили к России и вообще всё это кончилось, то *Белая* естественно переименовалась в *Белый*».

— И больше ничего?

— Ничего.

«На кой тебе леший история?» — это как-то звенит в ушах, в душе... «И без неё беспокойно: вон кажинный день предписания от начальства. Опять убили в Косой улице; начальство предписывает — разыскать. А как его разыщешь, когда он убежал? Поле велико, лес велик, — где его искать? Убили — Божья воля. А начальство сердчает: ищи, говорит».

И запахиваешься туже в пальто, в шубу, — смотря по времени года. Идёшь с кладбища домой. Скидываешь пальто, отряхи-

вая снег или дождь с него. «Дома» натоплено, тепло, тепло, как за границей решительно не умеют топить домов, — нет таланта *так* топить. И садишься за самовар, «единственное национальное изобретение». Самовар же вычищен к «кануну праздника» ярко-ярко... И горит, и кипит... Шумит тихим шумом комнатной жизни. Белоснежная скатерть покрывает большой стол... И на подносе, и дальше вокруг около маленьких салфеточек расставлены чашки и стаканы с положенными в них серебряными ложечками... И сахарница со щипчиками, и чайник под салфеткой. Сейчас разольётся душистый чай.

И будет сейчас всем хорошо. Тоже «как не бывает за границей». Несётся небольшой смешок, без злобы:

— Дверь затворите крепче, чтобы полиция не вошла. Чёрт с ней! Не даёт она нам настоящей истории, так будем жить маленькими историями.

«Маленькими придуманными историями»... Вот Тургенев в его рассказах. Вот весь Чехов.

...Небо без звёзд, без силы, ветер без негодования, непогодь, дождь, серо, сумрачно, день, не отделяющийся ярко от ночи, ночь, не отделяющаяся ярко от дня, травки небольшие, деревья невысокие, болотце, много болотца; и дальше, на черте недалёкого горизонта — зубчатый частокол «тюремного замка», ещё дальше — кладбище, а поближе сюда жёлтая гимназия, в сторонке — белая церковь с колоколом и крестом, — вот обстановка Чехова, в которой он рос и захворал, и всё запечатлел в уме своём под углом этой серости и бессилия, этого милого и недолговечного.

Чехов жил и творил в самый грустный период нашей истории, кульминационно-грустный. Он не дожил до «освободительных дней», и так как самые дни эти пришли случайно, в связи с непредвиденною войною, то в нем и не было никакого предчувствия взрыва, ожидания его. Гладко позади, гладко было и впереди... По этой глади шёл он, больной раннею чахоткой, о которой знал язвительным знанием медика.

Мне передал о нём один человек, близко его знавший и горячо любивший:

— Мы как-то встретились с ним в Москве... Я был на перепутье, проездом через Москву... Он и говорит мне раз: «А не пройдемся ли мы на кладбище (такого-то) монастыря? Смерть люблю читать надписи на надгробных памятниках. Да и вооб-

ще люблю бродить среди могил»... И это бывало не раз. Я уступал ему. И, бывало, мы бродим, бродим... Какие попадаются надписи — то ужасно смешные, то замысловатые, то трогательные. Это ещё не разработанная часть русского словесного творчества.

Какой вкус... Но как это похоже на Чехова, как идёт к нему.

Другое сообщение чрезвычайно меня удивило. Оно шло от того же человека и, я думаю, совершенно достоверно. Было передано просто как удивительный факт, без тени осуждения.

— Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей и вообще что там есть. Но Антон Павлович отказался; он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом. Удивительно!

— Вполне удивительно!!

Рассказывавший не сказал мне, что он ездил туда не «для себя» и что вообще это не было с теми целями, с какими обычно делается; но из всего хода рассказа, передачи видно было, слышно было, что Чехов любил это как *сферу наблюдения* или как обстановку грёзы, мечты; может быть, как стену *противоположности*, через которую пробивалась его идеалистическая мысль и, пробиваясь, становилась энергичнее в действии, в напряжении. Бог знает. Можно разное объяснить. Мне и на ум не приходит объяснить в дурную сторону, дурным любопытством. Тут что-нибудь глубоко-грустное, какая-нибудь такая глубокая «своя дума» у Чехова, которой он даже и не рассказал и не рассказывал приятелям «в объяснение», которое так естественно ожидалось бы. Скажу только, что с юности грустный Гоголь вывел же в «Невском проспекте» встречу художника-мечтателя с «такой барышней»... Тут, в этих встречах, что-то острое, печальное, жуткое и страшное. Но я нахожу, что этот дикий вкус в Риме, — в самом Риме поехать «первым визитом» именно сюда, — как-то совпадает со вкусом пойти и погулять по кладбищу...

Ведь и *там* смерть, и *здесь* смерть... Там — смерть человека, индивидуума; здесь — смерть цивилизации, общества, фазиса культуры и истории.

«Люблю видеть, как человек умирает. Жутко, страшно. А так хочется заглянуть».

Чувство медика. В особенности больного медика. Может быть, что-нибудь объяснит в этом вкусе Чехова та прибавка к рассказу, какую я выслушал, когда всё продолжал удивляться:

«В этом отношении был похож на Чехова ещё один наш писатель».

И рассказчик назвал одно из аристократических имён литературы: не то гр. Алексея Толстого, или Сологуба, или Плещеева. Во всяком случае писателя без малейшей порнографии.

— Он любил целые вечера просиживать в зале таких домов. «Я полужакрою глаза. Несётся ихняя музыка. Танцуют. Пары уходят и возвращаются. Всё как следует. И я переносусь в прошлое и воображаю, что сижу на вице-губернаторском балу».

Я передаю сообщение буква в букву. Пусть разбирается читатель в том, в чём я не умею разобраться.

Но почему-то *именно* в Чехове мне нравится это слияние... «Тут есть что-то чеховское», — от этого впечатления не отвяжешься.

— Кладбище. Могилы, эпитафии...

— И зала с музыкой. Барышни в розовом, удаляющиеся с кавалерами...

И он грезит. Он, Чехов...

— А что мне Колизей? Мертвечина. Декорация прошлого — и чёрт с нею. Я живой человек, и мне не долго жить, я болен, но я ни минуты не отдам на этот раззолоченный славою Колизей, ни на св. Петра с его пилигримами. А пойду-ка я лучше в дом... и увижу настоящее, живое, трепещущее и руками медика пощупаю рёбра у больных, у падающих, у искалеченных и, однако же, всё-таки лучших и прекраснейших по присутствию в них жизни и действительности, нежели сто Колизеев, вместе сложенных. Чёрт с ними... Вы — обыкновенные, и вам надо смотреть Колизей, чтобы из надуманной души вытащить несколько надуманных же ощущеньиц, а я особая статья, Чехов, и вот пойду в б...

Что-то в этом роде, должно быть, шевелилось у него.

\* \* \*

Когда я читал его «Баб», то сухим, деловым глазом исследователя вопроса видел, что этот очерк-рассказ должен быть введён целиком в «Историю русской семьи», в «Историю русского быта», «В историю русской женщины». Но особенно — в первую. Только одна вялость русской души, выросшей между кладбищем

и б..., сделала то, что никто не застонал над рассказом, никто не выбежал на улицу и не закричал и вообще не совершил того скандала, после которого уже нельзя прятать шило в карман. «Мы не жида и дела Дрейфуса не подыдем». Собственно, начальство на это и рассчитывает: «Русские — паиньки» даже в случае несчастья пропустят в горло лишнюю рюмочку и уснут обломовским сном, без сновидений и привидений». У нас «какая леди Макбет», — сто человек зарежут и только потребуют кусок брокаровского мыла. Нет, в самом деле, ну, только одного человека, всего ведь одного, и даже буржуа, богатенького, без особенных улик обвинили в измене и сослали на ихний остров Сахалин, — начался «гвалт», сто, тысяча голосов закричали во Франции, а затем *заставили* кричать и во всей Европе, наконец в целом свете; кричали четыре года и заставили вернуть с Сахалина... одного человека, всего только одного! Это отдаёт песками Аравии, солнцем Сирии, «Книгой Иова», авторов этой книги, коллективных, народных. «Око за око»... У нас хоть ломай всем руки и ноги, никто у тебя за это подушки из-под головы не выдернет, никто из шевелюры волоса не вынет. 1). «Обязаны просить». 2). «Во всяком человеке есть искра Божия, в том числе и у ломающего руки и ноги». 3). «Ведь уже всё прошло, ноги-то и руки поломаны, ничего не воротить, — зачем же чужую шевелюру портить» и 4), и фундаментальное: «А какое нам до всего этого дело? Мы пьем чай из хорошеньких чашечек, которые в случае дела Дрейфуса могут и разбиться». Наши «Рюрики, Синеусы и Труворы» это хорошо знают и как о Сахалине, так и о Шлиссельбурге полагают, что русский человек никак из-за этого не поднимет *фактической* истории. «Напишет горячую статью в журнал, но затем — всё успокоится».

Мы народ не мстительный и давно живём под заветами евангельского прощения. «Вот и Л. Н.<sup>2</sup> это же говорит». «Рюрикам» всё на руку.

Ни русская юриспруденция не обеспокоилась «Бабами», ни духовенство. А. Ф. Кони так же остался величествен и недвижим, как и митрополит Антоний, благожелательный не менее Кони. Если бы они рассердились на русскую действительность за «Баб», они испортили бы безоблачно-доброе выражение лица своего и вообще покачнули бы ту репутацию, приобретение которой стоит столько жизненного труда. Лишние нервы портят физиономию. В «Бабах» рассказывается, как русский просто-

людин, у которого отлучилась жена, сходится с бабою и прижил от неё ребенка. Затем, когда жена к нему возвращается, то он читает этой бабе наставительное рассуждение об её нехорошем поведении, говорит, что «теперь эти глупости надо оставить» и вообще приходит в норму, порядок и законность. «Всё как следует»... Всё эпически спокойно. Рождённый мальчик, уже подрастающий, торчит тут же на телеге, никому ненадобный. «Всё как следует», «всё — по-христиански». «По-христиански»: 1). Согрешил — без этого человек не живёт, для искупления таких грехов и Христос пришёл на землю; а потому 2). «надо покаяться после греха» и «вернуться на добрый путь». Об этом Христос говорит в притче о блудном сыне, да и вообще это — само собою. Но все это — с *личной точки зрения*, как перипетии *моей личной судьбы*: Евангелие обществом не занимается, а «спасает только душу». Торговец, «спасающий свою душу», естественно, когда вернулась к нему жена, и возвращается к ней; а той женщине что же он скажет, кроме того, что она — дурного поведения, и даже он с нею «вот нагрешил». «Всё по-истине, по-христиански», и женщине, как и мальчику её, только остаётся подумать: «мы же должны простить его», — потому что древнее *око за око* отменено высшим законом евангельской любви. Всё «утрачивается» и «закругляется» в такой порядок, исторически высший и окончательный, что...

Но и у Кони, и у митрополита Антония такие хорошенькие фарфоровые чашки, что они никак их не разобьют ради этой бабы и её мальчика.

«Всё-таки уютно на Руси»... Ну, не на всех хватает счастья, ну — и что же. И Мессина тряслась, и в Мартинике было извержение. Позвольте, да в самом Евангелии и притом Сам И. Христос говорит: «Повалилась башня и задавила многих... Грешных ли одних? Нет, но и праведных».

Баба эта и мальчик её попали в число «задавленных праведных». Но раз сказано, что о них нечего спрашивать, то *кто же и как* будет спрашивать? «Солнце восходит над добрыми и злыми»; вот оно взошло и над мужичком, любившимся с бабою, когда вернулась жена. Даже если он «хуже разбойника», то опять ничего, ибо сказано, доброму раскаявшемуся разбойнику сказано: «Днесь будешь со мною в раю». Вернувшись к жене от той бабы, разве он не «раскаялся в поведении»? Даже до того, что стал учителем. Но мысль: «солнце восходит над добрым и злым»

естественно имеет дополнение: «а когда заходит солнце — то ночь наступает для злого и *доброто*». Баба опять как попала под Силоамскую башню, так и под эту «ночь» недоговорённой притчи...

— Ну, и темно, ну, и Бог с тобой, и плачь... Ныне свет Христов пришёл, — и тебя никто ровно не заметит, ибо ты уже обработана и в притчах, и прямым учением.

Не могу объяснить, но как-то брезжится, что написавший этот сюжет, написав в строках такой ужасающей правды, простой и спокойной, естественно, заехав в Рим, должен был поспешить не в Колизей, чтобы посмотреть новость, а в такой дом, который ему и на Руси давно пригляделся. «Наша старая правда, наша христианская правда».

Бабы, так как их «задавила Силоамская башня<sup>3</sup>» и по жребию им выпала «ночь», утешаются хоть орехами и подсолнечниками. Тут же у Чехова рассказано, что, когда мужья их заснули, одна толкнула другую в бок и прошептала:

— Ин, сноха, пойдём, побалуемся с семинаристами.

Это приезжие к попу сыновья, из семинарии, уже кончавшие курс: кони добрые, выросшие на хорошем овсе. «Всё над добрым и злым», и «сперва постранствуем в грехах, а потом будем обедню служить».

Всё закругляется во что-то доброе и милое. Мила наша Русь крутостью. Ведь какой круглый был Платон Каратаев (в «Войне и мире»). Столько жил и ни на что не сердился. Его наконец застрелили, но он и тогда остался «круглым». Решительно, солнышко на Руси не заходит. Холодновато оно, но зато уж не заходит.

Близко к полюсу.

\* \* \*

Когда Чехов написал «Мужиков», то произвёл переполох в печати, — он, такой тихий и бесшумный всегда. Не знали, как отнестись к ним. Хвалить? Порицать? Мужики были так явно несимпатичны, между тем как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиком «симпатией». Не хлебом и чаем, а «симпатией». «Мужики», впрочем, повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого; но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова без «примера» сказано, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» ужасно жгло сердца и оскорбило интеллигенцию тем, что

она не знала, как к этому отнестись. «Любить» явно можно только симпатичное, а тут?..

— Они не любви просят, а хлеба. Работишки, хлеба или земли. Всё было поставлено жёстко, экономично. Тут Чехов писал рукою не беллетриста, а медика. Почти центральное место в рассказе есть одна строка:

Он у нас не *добытчик*.

Это семья аттестует одного своего члена-инвалида.

«Не добытчик»... Это глупое, тупое слово, какую-то кувалдою стоящее в строке, слово такое не литературное, не тургеневское, — сосёт-сосёт вашу душу по ночам. Сперва ошпарило, а потом сосёт.

— Куда же его, если он не добытчик?

Лишний рот в большой семье около маленького каравая. Скверные мысли приходят на ум. Ну, а если «недобытчик» захворает, — значит, его хворь не почувствуют другие так, как если бы заболел добытчик? Или если его ушибёт камень, убьёт гром? С «добытчиком» сделается, — и все ахнут, застонут; а с «недобытчиком»?..

Тут «закругления» Платона Каратаева разрываются: «недобытчика» вообще не жалеют, к «недобытчику» ничего не чувствуют, — и не по злобе, а по *усталости*.

— Всё привыкаем не есть. Никак не можем привыкнуть. Всё хочется, каждый день хочется... Хлебца и молочка. *Устали*, «привыкая»...

Ужасное «устали» за десять веков существования! Как не устать... Ну, и где же тут «десять заповедей» морали, куда приложить тут Нагорную проповедь Евангелия?..

«Блаженны ищущие и алчущие правды...»

— Нам бы хлебца. Не совпадает.

«Блаженны, когда вас будут гнать и поносить»...

— Никто нас не гонит, и даже все «любят». Только проходят всё мимо. Нам бы землицы.

Но о земле и хлебе Учитель жизни ничего не сказал. Указал на Небо, что «туда надо стремиться». «Вот и Л. Н. подтверждает».

\* \* \*

С изнурительной чахоткой в груди, неудачник-медик, с нуждой в деньгах, не большой и не острой, но «всё-таки», — Чехов прошёл недлинный путь жизни, на всё оглядываясь, всё заме-

чая, ни с чем бурно не враждуя, и вообще бурь в себе и из себя не развивая. «Штормы — в океане; на Руси какие штормы? Стелется ветерок». И безграничные равнины Руси, с её тихими реками, вялой и милой зеленью всё окинул он ласковым и печальным взглядом, — взглядом человека, который добирается до ночлега и обдумывает, будет ли он тепел, не придётся ли опять зябнуть.

Он наблюдал, видел, рассказывал...

«Любовь? Где же вечная любовь?» — Не на Руси! «Верная любовь?» — Не по нашим нравам.

Какой-то почти «прохожий» человек, соседний человек, инженер, что ли, или чиновник, ухаживает за «женой ближнего», и с желанием неперменного успеха. Жена — хорошая женщина, обыкновенная женщина.

У неё ребенок, мальчик. Тянется что-то 14-й год брака. «Инженер» Ё нисколько ей не нравится. Но удивительно «хочет». Есть нагнетания воли, магнетизм воли, шопенгауэровское «хочу», — и волны этого чужого «хочу» захватывают её. Но она честная женщина, вполне честная. Это уже я комментирую. В критическую минуту или накануне критической она играет со своим ребёнком, прижимается к нему, старается вообще преднамеренно и нравственно отразить наступающую волну отбойною волной материнского чувства. Всё правильно, верно, мудро, всё по инстинкту. Но «канун» прошёл, и наступил настоящий день. Зов повторяется, волна идёт сильнее, — волна, её затревожившая, — и она кличет отдыхающего мужика.

— Саша! Проснись!

— А? Что? — Храп продолжается.

— Саша, ты нужен мне. Проснись... Муж всё сопит в кровати.

— Беда идёт, Саша... Если ты не будешь со мной, беда будет.

— Да оставь же ты меня, дай выспаться. — И муж повертывается на другой бок.

Жена спустилась с балкона, в аллею сада... Всё «случилось»...

*Что случилось? Как случилось?* — «Всё по-русски»...

У нас штормов нет, рыцарства не было, даже дуэли не привились. «На нашу русскую точку зрения» даже всё это представляется комизмом — и дуэли, и рыцарство, а уж штормы в особенности.

Тиха Русь. Гладка Русь. Болотцем, перегноем попахивает, «а как-то мило всё». Отчего мило? Кому мило? Кто это расска-

зывает, — тому мило, кто это видит, — тому мило, да, по правде, и всем нам мило. «Кто всему приняхались».

И задумчивый художник, с полукритикой, без возможности протеста и борьбы, шёл и шёл... к ночлегу ли, к станции ли. Пресса и общество шумели вокруг него, неглубоким и не «своим» у каждого шумом. Лес шумит, а деревья не слышно. И среди шумящего леса шёл путник-созерцатель, не вторя лесу, но и не дисгармонируя с ним, его не поддерживая, но ему и не противореча. У Чехова было столько же «хочу», сколько «не хочу». Именно как у Руси, у которой «не хочется» так же много, как «хочется»... Всё нерешительно, всё неясно...

Он стал любимым писателем нашего безволия, нашего безгероизма, нашей обыденщины, нашего «средненького». Какая разница между ним и Горьким! Да, но зато Горький груб, короток, резок, неприятен. Все это воистину в нём есть, и за это воистину он недолговечный писатель. Все прочитали. Разом, залпом прочитали. И забыли. Чехова не забудут... В нём есть бесконечность, — бесконечность нашей России. Хороша ли она? — Средненькая. — Худа ли? — Нет, средненькая.

О, Боже! Да тянись же ты, кляча, хоть до глубокой могилы.

1910

